

ФИЛОСОФИЯ

В. И. Красиков

*доктор философских наук, профессор
Кемеровский государственный университет*

НАСИЛИЕ И КУЛЬТУРА

Трансформация ценностно-мировоззренческих систем, включавших в себя комплексы философских, религиозных, этических и эстетических проявлений, объединяемых тем или иным характерным фундаментальным пониманием (образом) человека, оказывала решающее воздействие на изменение характера проявления насилия в человеческом обществе. Этот тезис мы и собираемся обосновать нашим последующим изложением.

Философия – рефлексия эпохи, сама по себе запаздывающая реакция. Религия, пожалуй, напротив, самая первая эмоциональная реакция наиболее чувствительных душ – томления грядущим. Эстетика, художественное творчество пытается либо «обновить» реальность, либо организовать побег из нее, и лишь этика и идеология крепко укоренены в этой жизни, являясь ее «отражением». Взаимоотношения разных компонентов ценностно-мировоззренческих систем с политикой и экономикой разные, также они обладают существенной автономией и собственной основой (традицией). Вместе с тем, что из имеющегося каждый раз идейного многообразия поддержать, а что оставить на прозябание – зависит от господствующих в данное время индивидов – именно в этом смысле «господствующие мысли эпохи – есть мысли господствующих индивидов». Равно, как и наоборот, философская, религиозная, моральная, эстетическая поддержка со стороны талантливых, ярких теоретиков и идеологов обеспечивают сакрализацию и сообщают авторитетность, новый импульс ободрения той или иной политической или экономической практики ведущих социальных сил.

В этом смысле идеи правят миром, но те из них, которые одобряемы и разделяемы наиболее инициативными и успешными в данное время людьми. Весь вопрос – как объяснить внезапное появление этих людей, не пользуясь банальностями, типа «накопилось» (развитие тенденций, производительных сил или же знаний) или «время пришло» (почему оно приходит непредсказуемо?).

Так или иначе, но несомненна взаимосвязь как между изменением характера насилия и оценками человека, его природы и удела, так между квалификациями человека и развитием политических практик, эха подсудных экономических процессов. Это наиболее явственно в поздние к нам времена, когда «люди пера» чуть потесняют «людей меча». Развитие ценностно-мировоззренческих систем в рамках последовательности обществ, относимых к «западной цивилизации» (греко-римское начало, авраамистские религии), имеющих своим ядром тот или иной фундаментальный образ человека, стимулирующих ту или иную характерную «нормализацию» насилия, можно представить в виде последовательности четырех качественных состояний:

- «амбивалентный человек»;
- «подлая тварь»;
- «дистиллированный дух либо сосуд греха»;
- «добрый человек».

В отношении ценностно-мировоззренческой системы взглядов людей доцивилизованного (догосударственного), первобытного прошлого мало что можно сказать

определенно-достоверного, т. к. вся информация о том носит косвенный характер. Вместе с тем, некоторые общие суждения, опирающиеся на мнения специалистов, все же возможны. Считается достаточно твердо установленными следующие фундаментальные обстоятельства:

> «исходное состояние в сообществе высших приматов, давшим начало гоминидам, отличалось мирным характером внутренних взаимоотношений» [1, с. 283];

> социальные структуры первобытного общества были основаны на родстве и имели в своем развитии две стадии: раннюю родовую общину (охотники, собиратели, возрастные, эгалитарные структуры) и позднюю родовую общину (переход к земледелию, появление иерархий);

> благо рода (общины) – высший смысл морали того времени, а отношения родства между группами (кровными, родственными, поколенными) – критерий моральности/неморальности поведения индивида [2, с. 544].

Необходимо помнить о многотысячелетней бесписьменной истории людей, в которой присутствовали и относительный внутренний мир, и жестокие межплеменные столкновения, и начало взрыва внутреннего насилия – в связи с постепенным переходом к гораздо более плотным и территориально ограниченными поселениям. Собственно говоря, эта многотысячелетняя история – иное, неведомое нам и, может, никогда не постижимое состояние. Одно ясно – знания и оценки, выработанные необозримыми поколениями тех людей, ставшие их живой традицией, обычаями, должны быть на редкость мудрыми, т. е. не просто «рациональными» (соразмерные рассудку и расчету), но сочетающимися и предусматривающими примирение разных типов людей, разных сторон в одном человеке. Подобная, часто неуловимая для четкой понятийной фиксации, характеристика состояния отлаженности взаимосогласований в поведении и знаниях древних людей находила свое выражение в мифе, выражавшим исходный ментальный микрокосм становящегося общественного сознания. Именно миф есть зеркало для героя – первого образа человека в глазах древних людей.

Стала уже общим местом констатация «первобытной двусмысленности» и «трагического шутовства» мифосознания [3, с. 43]. Однако что же выражает подобная амбивалентность? С одной стороны, ясно, что «человек» в формирующемся общественном сознании того времени есть, прежде всего, «родо-социальный индивид», он – функция своей группы, роль, чей репертуар обусловлен «объективным» родственным либо возрастным раскладом. Вместе с тем, понятно, что подобный чересчур «родо-социализированный индивид» противоречит как эгоистическим страстям вообще живых людей, так и, в особенности, наиболее активным и самостоятельным из них. Умудренное своим многотысячелетним существованием родовое общество не раз разрешало, вероятно, подобные коллизии, потому оно ввело не только систему строгих предписаний и табу для разных категорий своих жителей, но и, в качестве «клапанов парового котла», право на нарушение табу.

Потому, с другой стороны, «человек» – это еще и «трикстер», нарушитель всех мыслимых норм, насмешник над сакральным – исключение, дополняющее общее правило, исключение для своенравной, сильной личности, каждый раз нового возможного установителя новых правил. Отсюда – знаменитая амбивалентность мифа, образов людей и богов в нем: здесь сразу дается и «общая картина», и «исключения» – в итоге «живая реальность», где отсутствует еще искусственные художественные размежевания добра и зла, добродетели и греха. Каким же образом и в каких направлениях этот образ амбивалентного человека нормализовал насилие?

Осознание себя и сущего в длительно удерживаемых мифологических образах – есть самое рождение человеческого сознания, и означало первую фиксацию качественно-революционной грани между интеллектом животных и интеллектом человека. Что это означает?

Память, воображение, мышление и даже зачаточная «я-концепция» наличествует уже, согласно последним этологическим исследованиям, у высокоорганизованных животных, тем более приматов [4]. Все дело, вероятно, в разной «выдержке экспозиции», пользуясь терминологией фотографирования, или способности долговременного удержания, фиксации чувственных и мыслительных образов – в памяти, воображении и его. Ранее, как и у большинства интеллектуальных животных, «портом основной приписки» человеческого интеллекта было то, что наиболее ярко, отчетливо и потому более легко удерживается и фиксируется настоящее, непосредственное чувственное восприятие. Память и предвидение были более размыты, были всегда подернуты легкой дымкой забвения, относительно быстро ускользали. Становление человеческого интеллекта означало, прежде всего, отчленение от непосредственного чувственного восприятия в качестве самостоятельных, пожизненно фиксируемых сфер психоментальной жизни – памяти и воображения. Их конституирование выразилось в революционнейшем акте «раздела времени», появлении человеческого времени, сиречь его бытия. Сфера памяти конституировала себя в виде «прошлого», воображение, надежда и фантазия – в виде «будущего», создав тем самым новые полюсы внутреннего внимания, силовые поля между которыми и создали внутреннее ментальное пространство, душевность (душу), духовный мир.

Ментальная экспозиция, возникшая в разворачивании-утроении момента «настоящего» на «прошлое-настоящее-будущее», составила основу для позднейшего появления «культуры» и «общечеловеческого». И в этот новый формат оказались «помещенными», или осознанными, прежде полуосознаваемые, такие фундаментальные обстоятельства жизни гоминид, как кровная, семейная близость, опасности со стороны других и чужаков, конфликт, терпимость и насилие. Помимо уже человеческой «ментализации» биологического в виде первичных норм, в которых соединялись последующие «право», «религия» и «мораль», длительное удерживающее осознание формирует новые позиции обзора сущего в виде открытия многокачественности и фундаментальных неравенств в его строе: сильные и слабые; боги, духи, звери и люди, а также первичные выводы-вопросы: что значит, для чего и почему?

Подобное рождение человеческого формата «осознаваемой социальности и индивидуального я» означало и первое нормирование насилия, производного от приведенных первичных констатаций кровной и семейной близости как единственной высшей ценности, враждебности безмерного мира и обилия угроз вне общины.

В чем же выражалось это исходное нормирование?

→ Насилие подразделяется на резко ассиметричное по объему и степени жесткости «внешнее» и «внутреннее». Последнее, или насилие внутри родовой общины, отмечено большой терпимостью приятя, доведение агрессии до деструкции избегается, преобладают компромиссы, взаимное сочувствие и мирное разрешение конфликтов. Зато насилие, направленное на чужаков, выделяющихся внешним обликом, языком, манерами, одеждой и поведением, приобретает деструктивный характер, и в их отношении часто не срабатывают поведенческие механизмы умиротворения (примирительные жесты, позы подчинения, миролюбивая мимика). Подобная ассиметричность насилия есть уже у приматов, здесь же, помимо осознания, она еще и культурно кодируется и транслируется из поколения в поколение, являясь основой «этнической проказы» – ксенофобии.

→ Насилие, как «внутри», так и «вовне», еще не оценивается в нашем смысле – в маркерах «добра» и «зла» – в силу просто отсутствия последних. Вернее, их зачаточной нерасчлененности и двусмысленности: то, что приветствуется в мифах, это либо явное добро, благость и лепота – все, идущее от «правильной» жизни, ранее заведенной предками, времен «первых установлений», либо подразумеваемое в молчаливом восхищении живописание своенравных людей и богов, попирающих эти самые основы установлений. Насилие принимается, поощряется, им восторгаются – в силу скорее его целесообразности, уместности, эффективности в реализации одинаково желаемых тотального блага коллектива или же удали своенравной удачливой личности. И это независимо от какой-то,

позже появившейся, абстрактной шкалы худосочных стандартов «добра» и «зла». Здесь смотрят не на сам по себе акт насилия, а на то, кто, в каких обстоятельствах и почему его осуществил: если смел – то съел, если нет удали и бесстрашия – подчиняйся и принимай заведенный порядок. Кстати, как правило, тот, кто смел – трикстер, чужак и одиночка, им восторгаются, но не понимают и боятся. По сути, в мифе есть два «человека», два образа человека: коллектив, или сегментарная личность, и необычный, харизматик, необузданный и своенравный, чужак, предстоящий в людских, звериных, демонических обличьях Ворона, Койота, пересмешника (шута, простофили), Локки, Прометея, Гермеса и мн. др.

→ Если внутри общины насилие регулируется скорее неформально, т. е. полубиологическими механизмами первоначального эмоционального запечатлевания, глубокого знания своего ближнего и душевной близости, то между общинами оно нормируется уже по формальным (т. е. как-то оговоренным) основаниям отношения к «Другому». Особо глубокой, т. е. устойчивой, идеологически мотивированной ненависти здесь, впрочем, не было. Насколько глубоко и близко знали соплеменников, настолько далеки и абстрактны были чужаки. Эмпатии, однако, хватало, чтобы понимать, что чужак – такой же представитель столь же могучего и суверенного начала, подобного твоим роду и общине, а если он еще отличим и отвагой, то приближается к «трикстеру». Отношение к врагам, межплеменным войнам потому вполне трезвое, рассудочное, уважительное – ничего личного, такова жизнь, и все подчиняется принципу эквивалентности – талиону.

Период раннеземледельческих государств отсчитывают с X тыс. до н. э. [5, с. 34–35], хотя переход к нему самому также занял, вероятно, не одно тысячелетие. Этот переход, плюс сам период ранних империй Востока до «осевого времени» (VIII–III вв. до н. э.) насчитывает более десятка тысячелетий и находится у истоков современной культуры. Это была самая решительная и глубокая революция («неолитическая революция», по терминологии Г. Чайлда), ибо породила первые, собственно человеческие, а не доставшиеся ему в наследство от биологической эволюции: новый характер активности и новый способ совместной жизни. Человек, как привилегированный хищник, благодаря более совершенному интеллекту и оружию, ранее мог присваивать дары природы. В земледелии и скотоводстве он уже умело (рационально) использует производительную силу самого живого – контролируя, направляя, оптимизируя рост растений и животных к своей вящей выгоде.

Новый способ добывания средств к жизни оказался на удивление высокопродуктивным и требовал на порядок меньше территорий (правда, привилегированно-редких: илоносные дельты великих рек, черноземы и т. п.), зато взаимобразно: давал прокорм на порядок большему количеству людей, требуя, однако, столь же «плотного» регулярного совместного труда многих. Подобные обстоятельства и порождают основу современной цивилизации – городские поселения, где могли жить тысячи людей, тогда как общины охотников-собирателей состояли, в лучшем случае, из десятков-сотен, и где малонаселенность прямо коррелировала с поголовьем зверья и количеством иных естественных пищевых ресурсов.

Так появляется городское поселение, затем полисы и мегаполисы древности, – первые социальные плаивильни, вбирающие в себя, как черная дыра, вещество, людей из близлежащих поселений, переплавляя их в городских жителей. Это неоднократно будет затем повторяться в истории, город гомогенизирует людской состав – здесь отменяются многочисленные местные локальные порядки, родовые нормы, обычаи и формируются, в конкуренции между собой, новые синтетические традиции. Вполне понятно, если падают моральные скрепы, социальные табу, то возникает на некоторое время вакуум, временная пустота в святом месте вседозволенности. Если любая последующая социальная революция непременно сопровождалась насилием – хотя, заметим, насилием, уже имевшим прецеденты, примеры, нормы разрушения и созидания, следовательно, свою «традицию», историю, – то в эпоху перехода к цивилизации царил, похоже, настоящий хаос, сопровождавшийся тотальным, ненормированным насилием.

Гоббс, с его гениально интуитивным тезисом о предшествующей государственности «войны всех против всех», был, вероятно, во многом прав, имея в виду именно состояние перехода. Косвенным подтверждением его правоты являются следующие обстоятельства.

– Универсальное положение большинства развитых мифологий об изначальном хаосе, беспределе стихийных космогонических сил с их изначальными чудовищами, кровавыми бойнями, промискуитетом и убийствами родителей, детей, родственников. Похоже, это метафорические аллегории того беспрецедентного взрыва насилия, не сдерживаемого прежними ментальными крепями родовой идеологии и в отсутствии еще новой религиозной узды (в виде политеистической «олимпийской» религии).

– Центральное внимание, уделяемое в новых религиозных идеологиях городских поселений ранних восточных империй идеям Порядка и Истины (Египет, Китай, Месопотамия), вселенского Абсолюта (Индия), которые являлись предельной сакрализацией устанавливаемых новых – уже городских, имперских – порядков, обычаев и традиций.

– Крайне жестокие, репрессивные законы ранних периодов государственности, отраженные в большинстве известных источников, должны были именно пресечь разгул насилия, точно так же, как во все времена восстанавливалась воинская дисциплина после поражения или в наши дни иногда применяют суровейшие репрессии для спасения государства от гибели.

Испытания этого грандиозного по временной продолжительности периода породили свою своеобразную религиозную идеологию. Понятное дело, что хаос насилия, вызванный крушением родовых кумиров, первыми формами социального отчуждения в полисах и мегаполисах древности, не мог быть преодолен лишь сильной волей правителя-харизматика и эксклюзивно собранной армией. Нужно было новое идеологическое форматирование, новые кумиры, новый страх, еще более сильный, нежели перед духами предков.

Человек в то время, время предшества эпохе великих потрясений, понимал либо язык безусловного добровольно подчинения (роду, чувству крови), либо языку своенравия. И вот в историческое одночасье рухнула многотысячелетняя, отлаженная идеологическая система индоктринации и осталось лишь своеволие трикстеров: обманщиков, индивидуалистов, разрушителей традиций. И никакого представления о долге, ответственности, страхе Божьем – все это еще потребовалось создать, что впоследствии успешно было осуществлено в религиозных практиках Древнего Востока. Однако остался с того времени – времени «обуздывания своенравия» – образ человека – «подлой твари». Но почему же столь нелестная характеристика?

В ходе тысячелетий борьбы против «восстания трикстеров» победило новое социальное Целое, возглавляемое новыми «лучшими» людьми в лице правителя и его дружины (банды) – путем применения жесточайшего насилия и нового пленения умов трансформировавшимся в сторону абстрагирующего универсализма мифом или политеистической религией, сакрализовавшими новые порядки и правителя.

Чего уже желали в этом новом мире? Долголетия, многочадия, богатства, здоровья, власти и чувственных наслаждений. Чего не любили? Нищету, уродство, отклонения, непохожесть – все, кто чем-то отличается по внешнему облику, поведению или мыслям, заведомо подозрительны и потенциально опасны. До «открытия души», своего автономного «я», духовного мира, духовного мира – которое еще лишь предстояло в неясно маячащей перспективе «осевого времени» – человек и сам себя чувствовал сугубо «материалистическим существом»: все здесь, в этом мире, в этом теле, бери все, что сможешь взять. Потому ничего особо унижающего того человека, не ведающего еще ничего об отличности, суверенности, бессмертии духа (не появились еще те, кто это придумал), в характеристике «тварь» и не было. Как само собой разумеющееся воспринималась констатация о животной сущности человека – он сонм пороков, похоти, которого всегда ослепляют его же страсти. Тварь к тому же «подлая», т. е. неверная, хитрая, требу-

ющая неусыпного присмотра и периодических порок. Не случайно саму концепцию «рабства», так сейчас нас возмущающую, тогда воспринимали в качестве «социально-естественного обстоятельства дел». Такого только можно, да и должно постоянно обуздывать при помощи насилия.

Впрочем, «подлая тварь» в своих финальных перед «осевым временем» рефлексиях показала, что в рамках только материалистической вселенной перспектив у человека нет – кроме смерти и полного исчезновения. Гильгамеш, арфист из гробницы царя Антефа, библейский Иов (и его вавилонский предтеча в так называемой «Вавилонской теодицеи») и Екклесиаст обнажают, каждый по-своему, причины «человеческой подлости». В этом мире, который отформатирован существом либо нарциссического склада, либо с очень своеобразным чувством юмора, для людей исходно девальвированы все возможные смыслы их достойных или же недостойных занятий, и, главное, нет никаких надежд и никаких «благих вестей», а лишь неизбежная смерть и полное исчезновение. Что остается делать человеку в подобном мире? Правильно: «праздновать прекрасный день», пить и гулять, относиться несерьезно к серьезным видам деятельности, не заморачиваться никакими идеями, наслаждаться ускользящим мгновением в той мере, в какой он еще не отравлен знанием о предстоящей неминуемой расплате.

Как подобная «концепция человека» могла влиять на нормирование насилия?

→ Во-первых, она была идеологическим оправданием того разливанного насилия, которое было свойственно восточным деспотиям, но вряд ли принадлежала «природе Востока», как о том высокомерно вещали греки, скорее, это участь первопроходцев. Если человек – скотина, то он просто пропадет без надлежащего строгого присмотра и сурового пастыря в лице либо государства, либо недреманного ока небесного. Ветхий Завет живописует это фундаментальное непотребство людей даже избранного народа: только доверься льстивым заверениям в любви, верности, только ослабь бдительность – тотчас же они предаются идолопоклонству, распутству, изменам и воровству. Сколько бы раз Саваоф не наказывал их – все без толку, соответственно, именно эту «подлость», сквозящую даже в мелких преступлениях, хотел буквально «выжечь» небезызвестный Драконт.

→ Во-вторых, изменение мировоззрения и ценностей в новом понимании мира и человека устраняет прежнюю асимметрию внешнего и внутреннего насилия. Она существовала в силу сверхценности рода в прежнем мировоззрении. Ему на смену приходит культ нового социального целого: империи и правителя, продублированные и на небесах. Теперь, в условиях полиэтнических империй, существенно ослабевает прежнее, глубоко интимное, с малых лет культивируемое разделение на своих по крови и чужаков – внутри и вовне. Повсюду одинаково худо, если не повезет, то попадешь в долговую кабалу и к соплеменникам или пострадаешь в регулярных войнах империи. Государство устанавливает репрессивные нормы против вынужденных преступлений неимущих, узаконивает внутренне насилие социального неравенства.

→ В-третьих, ослабление родовых принципов морали привело к появлению первых ростков морали неродовой, общеупотребительной, абстрактной для всех людей, которая тотчас была ангажирована государственностью и политеистической религиозностью. Эта идеологически узурпированная мораль оказалась эффективным средством укрепления нового искусственного имперского единства и ожесточения насилия. В насилие были привнесены первичные религиозные (еще локальные, но в них каждый народ считал себя «избранным») и этнические квалификации: «мы – люди, они – недочеловеки». Они обусловили невиданную ранее пристрастность, непримиримость и ожесточенность. Вместо рассудочно-прагматичного талиона мы видим в вавилонских, египетских надписях, ветхозаветных текстах прославление массовых казней, репрессий, пыток, членовредительств против врагов, хвастливые отчеты о геноцидах.

Похоже, что переход к эпохе нового качества нормирования насилия совпадает с периодом, названным К. Ясперсом «осевым временем», VIII–III вв. до н. э., – рубежом «второго рождения» человечества. Произошел фундаментальный прорыв в развитии со-

знания, которое перешло от стадии рефлексивности к более высшей – конструирующего воображения. И в древних империях, и, конечно же, ранее существовали мощные рефлексивные умы, продукты мыследеятельности которых дошли до нас (поэма о Гильгамеше, песнь арфиста, книги Иова и Екклесиаста), досконально уже исследовавшие основы и социального, и божественного порядков, и основные формы человеческих занятий и запросов. Картина открывалась безотрадная: в этом мире для человека как существа материального и конечного нет вдохновляющих смыслов, т. к. он, мир, смыслоположен Богом и лишь для Бога.

Новая благая весть, принесенная в «осевое время»¹¹ пророками, аскетами, философами, учителями, возвещала неслыханное открытие, прозрение о существовании подлинной незримой реальности, пронизывающей и поддерживающей реальность видимую, материальную. Эта незримая реальность исконна, истинна и, что важнее всего, пронизывает и самого человека, являясь исключительным элементом его состава в виде сознания. Человек же, в массе своей, ни сном, ни духом не ведает о подобном незримом присутствии в нем божественного, демиургического начала, не способен «пробудиться» от зачарованности повседневностью и физическим, родится второй раз уже на территории своей подлинной родины.

Привычные смыслы переворачиваются, ибо смысл-то не во внешнем мире, но в самом человеке, в продуктивной и самодисциплинирующей силе его сознания, частице божественной силы, объявленной затем «бессмертной душой». Итак, суть революционного ментального переворота, оси разворачивания будущих последовательностей религиозных и философских смыслов:

– идея о трансцендентном, оппозиции естественному, материальному, представляющим субстанцию сущего и основание человеческого сознания;

– идея о самостроительстве и суверенности человеческой души, духа.

Преобладающей формой выражения благой вести оказалась авраамистская религиозная традиция в виде мировых религий христианства и ислама. «Эпоха веры» – массовых религиозных тоталитарных вероисповеданий заняла полтора тысячелетия вплоть до следующего транзитивного периода XV–XVIII вв. Вновь господствующим становится амбивалентное понимание человека, хотя и совершенно по другим основаниям – как существа, разрываемого двумя противоречащими друг другу сторонами его природы: телом и душой. По исходному предназначению он – бессмертный дух, ближайший слуга, образ и наместник Создателя, однако, по плоти он близок всему остальному сотворенному, не просветленному боговдохновением.

Человек, ведомый верой в благую весть о своем высоком, исключительном предназначении, желает уже не столь ближнего и досягаемого, сколько дальнего и труднодостижимого: бессмертия, свободы, славы в мире духовном. Различия между людьми физического и социального толка уже не воспринимаются как особо важные. Человек авраамистского духовно-религиозного склада уже сострадателен к нищим, сирым, калекам, его не слепит, как прежде, блеск богатства и славы земной, он терпим к своеобразию физического облика, культурных обычаев других племен и народов. Запрещено рабство и своевольное распоряжение жизнью человека.

Однако не все так благостно и прямолинейно. Натура человека напоминает не глину, из которой искусный гончар (история, культура, развитие человеческой духовности и пр.) лепит по своему желанию самые разные изделия, а, скорее, кусок упругой резины. Некто также стремится придать душевности человека желаемую форму, действуя

¹¹ Мне известна лишь одна предваряющая попытка (первая половина XIV в. до н. э.) полагания в основу религии абстрактного представления о едином боге (или даже не боге, в привычном смысле слова, а о солнечном диске), ставшая возможной благодаря венченности древнеегипетского интеллектуала-безумца, оставшаяся абсолютно непонятной из-за своей невозможной преждевременности и моментально исчезнувшая в песках египетской пустыни вместе со смертью Эхнатона («первого индивидуалиста и религиозного гения в истории», Б. А. Тураев), и гибелью его новой столицы Ахетатона.

силой на отдельные ее места – в итоге, хотя в местах давления резина прогибается, но лишь для того, чтобы выгнуться в другую сторону, компенсируя свою исходную форму и, соответствующую исходную плотность консистенции.

Ненависть, нетерпимость, жестокость канализируются из своих прежних обителей внутрисоциальных и межэтнических отношений – в метафизическую и межконфессиональную: культивирование духа, умерщвление плоти, ненависть к материи (Платон, Плотин, Августин); в войны за веру против иноверцев и еретиков. Новые формы терпимости и ненависти по-новому формируют социальное насилие.

→ Во-первых, из постулата о греховности плоти, которую следует держать в черном теле и по возможности умерщвлять, и которая ответственна, в конечном счете, за все мыслимые и немыслимые преступления, следовало характерное для средневековья попустительство, скрытое одобрение насилия как испытание и приструнивание тела. Отсюда жестокие средневековые практики истязаний, пыток, наказаний. Плоть следует ограничивать, держать в узде. Восхищение самоистязаниями аскетов, монашествующим образом жизни, умиление при виде нищих и калек имело обратную сторону в попытках переноса подобного отношения и в окружающую повседневность:

➤ в виде стремления минимизировать присутствие женщины, самого источника плотского греха, в обществе – запретить ее дома, укутать с ног до головы в черное, и, если она высказывает недовольство или же вызывая себе ведет (помимо терпимого исключения в домах терпимости), сжечь ее как ведьму;

➤ если Спаситель завещал терпеть и разве что не культивировать, сырых, калек и нищих, то от Него же идет необъяснимое негативное отношение в средние века к умственно неполноценным («бесноватым») – уже необратимо неполноценным умалишенным (жестокость, как к преступникам) и еще умственно неполноценным (еще не сформировавшимся) детям;

➤ насилие распространено, обыденно, им похваляются, сформировался какой-то садомазохистский его культ как пути исправления духа и поддержания его в необходимой кондиции: «розга ум вострит», «ненаказанный сын – бесчестье отцу», «кого Бог любит, того и наказует» [6, с. 420].

→ Во-вторых, догматическая ортодоксальность как имманентное свойство тоталитарных религий и сект, особенно в средневековых обществах религиозного единomyслия, ответственна за периодические насилия – в форме ли войн за веру, крестовых походов, репрессий против еретиков, гонений на язычество, колдунов, ведьм и т. п. Религиозное насилие считалось богоугодным делом, и это было тем «идеологическим пиаром», который хорошо прикрывал индивидуальные амбиции и алчность в условиях, когда долгое время именно церковь была единственной универсальной авторитетной инстанцией – носителем «общечеловечности» (своего рода морально-идеологической ООН).

→ В-третьих, насилия, так сказать, «внутреннего» стало даже больше, чем в период древних империй. В рассматриваемый период в большинстве европейских и ближневосточных земель прежних деспотий, централизованных государств установилась хроническая децентрализация мелких тираний с отсутствием общего правового пространства, прерываемая спазматическими объединениями. Темные века (VI–X вв.) насыщены междоусобицами, восстаниями низов, эпидемиями, голодовками вследствие хронических многолетних неурожаев, порождавших всеобщее ослабление и озлобление. Насилия неконтролируемого, хаотичного, своевольного, воспринимаемого как обилие несправедливостей всегда больше в условиях отсутствия жесткого централизованного управления и ясных неизменных правил игры. Легальное же насилие издревле воспринимается как *справедливое*.

Классический феодализм напоминает период складывания ранней государственности перед ранними империями – с его беззаконием (вернее, многозаконием), множеством мелких политических сообществ, вождей, основанных на связях личной зависимости и лояльности. Может быть, единственное отличие – наличие интернациональной, еди-

ной и сплоченной религиозной (идеологической) корпорации – церкви, чьи резиденции стали «точками роста» нового типа городов – осей складывающегося будущего единого экономического пространства и новой государственности. Новая, в сравнении с древностью, государственность решительно монополизировала и развила свою социально-онтологическую основу: организованное принуждение. Осуществить это оказалось легче, чем в предшествующем витке государственного развития – может быть, именно потому, что, благодаря многовековому религиозному нивелированию, окончательно утвердилось в душах людей представление об их основополагающем духовном единстве. Это обеспечило стартовые позиции для процессов складывания из сотен племен и народностей Европы относительно гомогенных наций и национальных государств. Однако и здесь тому предшествовал период революционных духовных трансформаций, получивший название Реформации, Возрождения и Просвещения (XV–XVIII вв.)

Несколько утрируя ситуацию, можно сказать, что три основных ингредиента новой концепции человека сложились преимущественно в трех последовательно идущих друг за другом, достаточно разнохарактерных исторических периодах, вместе с тем явившихся, в конечном счете, звеньями одной культурной последовательности, приведшей к появлению нового идеала человека и вереницы его воплощений в различных сферах общественной деятельности.

Примечательно, что религиозное сознание также лежит у истоков новой эпохи, как и составляет все содержание старой, предшествующей, только это серьезно трансформировавшееся религиозное сознание. Речь идет о *религиозном индивидуализме*, признаке, ставшим отличительной особенностью Реформации. Всерьез дискредитировавший себя непомерной алчностью, лицемерием (индульгенции), роскошеством, моральными непотребствами католический корпоративизм уже не мог удовлетворить запросы внутри уже преобразившегося городского населения. Обученные грамоте, лишённые уже в нескольких поколениях крестьянских родо-общинных корней, эти, уже обособившиеся и готовые к самостоятельности, люди с радостью восприняли призывы протестантских харизматиков к жизненной собранности, индивидуальной целеустремленности – к вящей славе Господа.

Вновь, как и во времена проповеди Христа и апостолов, среди средних и бедных слоев древних полисов и мегаполисов – основной среды раннего христианства [7, с. 178–179], актуализировались «религиозные потребности мелких и средних городских слоев в эмоциональной, связанной с внутренними переживаниями назидательной легенде» [7, с. 155] об избранничестве и спасении, заслуживаемом индивидуальными усилиями.

Как известно, М. Вебер настаивает на рационализации жизненного поведения пуритан (следуемое из раннехристианской аскезы) как складывающейся основной черты «капиталистического духа». Представляется, что в данном случае рационализация поведения была, как то происходило уже не раз в мегаполисах древности и современности, общим следствием, жизненным ответом обособившегося дезориентированного индивида, жаждавшего уже своей религии (единственно общедоступной и понятной тогда формы мировоззрения) – соответствующей уже его, а не холистичным, запросам. Другими словами, он стал «рациональным» потому, что стал «одиноким» – «один против всего мира» в союзе Богом, неисчерпаемым ресурсом моральной поддержки, а успех – подтверждение правильности жизненного стиля и веры. Конечно, в первую очередь, «индивидуализм» и «рационализм» стали стержнем новой системы ценностей, так называемых «пуританских народов». Однако эти идеи проникали и через мировоззренческие фильтры в цитадели религиозного традиционализма (католицизма, православия), создавая и здесь свои индивидуалистические субкультуры, как правило, в художественно-интеллигентских средах.

Итальянский вариант последней дал миру божественное явление Ренессанса, сказавшегося в конечном счете на складывающейся новоевропейской концепции человека

опосредованно и позже. Возрождение эстетических античных идеалов несло с собой и восстановление локального духа древнегреческого индивидуализма и рационализма, приводящие ренессансных интеллектуалов к скептицизму, внутреннему атеизму и отменявшемуся многими «обратной стороне титанизма» (А. Ф. Лосев), обвалу моральной сферы [8, с. 19].

Возрожденческий индивидуализм, таким образом, вряд ли мог быть привлекательным, особенно в глазах благонамеренных бюргеров, тем более крестьян, однако деятели Ренессанса своей подвижнической деятельностью утвердили высокую репутацию *творчества*, признанного затем вождельной целью новоевропейского человека, оправданием его индивидуализма и рационализма.

Антропоцентризм, пришедший на смену теоцентризму, спроецировал на человека и основное качество Создателя – креативную потенцию, реализация которой зависит полностью уже от свободного выбора и трудов самого человека. Вдохновенную оду этому человекоотличительному богоподобному качеству мы можем найти в «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирандолы, где человек – неопределенное существо с крайней способностью к мимикрии, наподобие хамелеона, со свободой воли, поставленное Богом в центр сущего. Потому-то люди могут быть кем угодно: почти Богом или же последним червем. Однако человеком в полном смысле слова делает его страсть к самоутверждению и превозмоганию себя – «святое стремление, чтобы мы, не довольствуясь заурядным, страстно желали высшего» [9, с. 222].

Наконец, третий фундаментальный ингредиент, хотя уже и обозначался в *расчетливой* рационализации жизненного (преимущественно экономического) поведения в протестантских сектах, приобрел характер вообще основы *разумного* мироотношения большинства современных представителей западной цивилизации – в теоретических произведениях и идеологических манифестах французского и немецкого Просвещения.

Рационализм здесь не просто констатация того, что человек разумен и должен все выверять, сопоставлять и умозаключать. Разум – принцип организации познания, жизни и вообще всего того, что мы называем «миром», «природой». Наконец, что важнее, это краеугольный принцип самоорганизации самой человеческой действительности. Ярко это было выражено Кантом – в положении о демиургической роли разума в познании и полагании онтологий, а гиперболически и космогонически – в «абсолютной идее» Гегеля.

Конечно, мы можем встретить в культурном многообразии Нового времени разные этические учения (утилитаризм, ригоризм, романтизм), по-разному акцентировавшие эти три парадигмальных компонента, но все они утверждают весьма сходные идеи индивидуализма, свободы, разума и креативности. Из этого следовали представления о первичности интересов индивида перед государством, об исконных правах человека и необходимости для каждого иметь вместо иррациональной веры свои разумные взгляды на природу и общество. Казалось бы, следовало ожидать, в соответствии с уже столь гуманными взглядами на природу человека, если не полного исчезновения насилия, то, по крайней мере, хотя бы существенного снижения его общего уровня. Гуманизация как устранение показной жестокости, варварских практик, питаемых прежними низкими оценками человеческой природы, действительно произошла, однако насилия, в конечном счете, не стало меньше, оно стало просто другим: в своих механизмах, формах и частоте проявления. Что это означает?

→ Во-первых, произошла *рационализация* насилия, что имело свои позитивные, так и негативные стороны. Положительным следует признать разумное лимитирование насилия:

- запрет варварских практик наказаний и, в конечном счете, смертной казни;
- смягчение отношения к преступлениям, не несущим большой общественной опасности;
- реабилитация в правах социальных изгоев – женщин, детей, сексуальных меньшинств, умалишенных;

➤ повышение эффективности в снижении преступности, ее профилактике, раскрываемости преступлений, попыткам ее исправления – благодаря новым возможностям централизованного государственного аппарата принуждения (полиция, тюрьмы).

Последнее, однако, порождает и негативную сторону в рационализации насилия:

➤ инструментализацию насилия в виде создания больших бюрократических машин насилия (полиции, спецслужб, разнообразных юридических структур);

➤ анонимизацию насилия, которое каталогизируется (в кодексах), данные о его носителях помещаются в гигантские картотеки, компетенции и ответственности борцов с насилием распределяются и строго прописываются;

➤ деморализацию насилия как следствие функционализации и насильников, и защитников от насилия в мегаполисах, отделения права от морали¹².

→ Во-вторых, налицо *идеологизация* насилия. Эпоха массовых организованных вероисповеданий сменилась эпохой тотально организованных идеологий. Основной вектор насилия перемещается в междеологическое противостояние: либерализм versus коммунизм, западная идеология versus религиозный фундаментализм и пр. Причем размывается граница между «внешними» и «внутренними» противостояниями, как то было ранее в целом однородных, гомогенизированных – будь то по подданническому, этническому или же религиозному признакам – обществах. Здесь же идеологические враги могут быть везде – и вовне, и среди своих: шпионы, вредители, саботажники, контрреволюционеры, партизаны, агенты влияния, бунтовщики, заговорщики, пятая колонна и т. п. Насилие «упаковывается» изошренно идеологически и применяется исключительно «хорошими ребятами» против «хищников», «эксплуататоров» или «безбожников» – ради счастья всех людей, против несправедливости и эксплуатации, подрывных элементов, за свободу и права человека, к вящей славе Господа.

→ В-третьих, хотя вследствие рационализации и идеологизации насилия происходит, похоже, относительное снижение частоты насильственных актов [10], равно как и его видимо грубых, варварских форм. Это компенсируется *аритимизацией* насилия: его уплотнением в отрезки массового и жесточайшего насилия, в которое вовлекаются все большие людские массы – от полос европейских войн XIX в. до двух мировых горячих и одной холодной войн века XX.

Итак, мы подошли к современности и теперь можно предложить финальные умозаключения по общему вопросу о динамике насилия в истории в связи с эволюцией культуры и сознания

Первое. Как явствует из предшествующего, существуют многозначные корреляции между историческими формами осознания человеком своей природы, общественной эволюции власти и насилием. Политическая власть в формах своего государственного развития постепенно монополизирует, упорядочивает и регулирует применение насилия – с помощью рычагов права и морали, сообщая жизни людей рациональность и предсказуемость. Соответственно, на планете сокращаются пространства общественной анархии, лишенных практики гуманистического правового регулирования: сегодня это самопровозглашенные, непризнанные националистические, религиозные квазигосударства, приграничные спорные регионы, территории, контролируемые бандами, мафией и пр. Они могут стать детонаторами ретро возвращений насилия в его прежних качествах, как свидетельство тому – распад СССР, Югославии, чья судьба вряд ли эксклюзивна и является неизбежной участью всех оставшихся империй.

¹² Преступность профессионализируется – ничего личного, просто это наш бизнес. Нарушения законов, которые ранее по умолчанию считались морально ущербными, в новоевропейском обществе вовсе не обязательно квалифицируются таковыми (уход от налогов, экологические нарушения и пр.), а явно морально нечистоплотные действия (кумовство, белая коррупция) находятся вообще вне поля правового регулирования.

Развитие антрополого-этических представлений – в сторону эскалации эмпатии¹³ и роста ценностного статуса человека¹⁴ определяют: приоритетные сферы применения насилия¹⁵, маркеры «свой-чужой», обеспечивает ресурсы легализации и оправдания определенных направлений насилия¹⁶.

Второе. Исторически меняется *характер* существования насилия.

➤ *Уменьшается* частота явления одиозных, жестоких, публичных актов насилия, и это следствие развития чувств сострадания и неприятия грубости. Не то чтобы все люди стали более сострадательны и мягкосердечны – всегда есть антропологические и социальные категории, более других склонные к насилию¹⁷, просто сейчас всерьез озабочены скрывать насилие от общественности – даже нацисты, и те старались тщательно скрывать свои концлагеря не только от своего гражданского населения, но и от простой армейской среды.

➤ *Символизация, «окультуривание»* насилия. Заставление уже идет не напролом в своей физической или же директивно-волевой направленности. Оно более терпеливо, методично-последовательно осаждаёт свой объект, «душа его любовью» – это насилие «в шелковых перчатках». Не важно – государство ли воздействует на своих граждан, друг либо возлюбленный на объект своих притязаний, главное, что давление здесь замаскировано озабоченностью с лейтмотивом: «делай так-то и так-то, поступай таким-то образом – это все ради твоего же блага».

Традиционные искусники символического насилия, ограничивая по своим правилам свободы другого стремятся занять привилегированные символические ниши – роли в извечном антропологическом репертуаре: государство «отечески оберегает, подправляет, защищает отечество от внешних и внутренних супостатов; женщина – «хранительница очага и семейных ценностей»¹⁸.

Эти тенденции стали возможными в формате нарастания *интериоризации* насилия или же его «овнутрения», перемещения процессов корректирующего ограничивающего своеволия извне вовнутрь. Фундаментальная подоплека этого процесса – в одном из когнитивных атрибутов нашего вида: способности в индоктринации. Это «способность к специальному формированию диспозиции, обеспечивающей принятие групповых характеристик и идентификацию с ними, которая тем самым служит сплочению и демаркации “мы–они”» [11]. Как и у животных, в чувствительные периоды детства, у людей формируется групповая верность и они становятся впоследствии, во взрослом состоянии, очень резистентными к формированию других культурных представлений и измене чувствам родовой или этнической сопричастности.

Появившееся государство, используя этот биологический механизм, в дальнейшем уже преднамеренно внушает идентичность верности более крупным, нежели

¹³ Распространение на все более широкий круг людей: род → племя → этнос → государство → человечество → жизнь.

¹⁴ Сокращение, под угрозой талиона, физических посягательств на человека → религиозные запреты на рабство и убийство людей – существ с дарованной Богом бессмертной душой → осуждение любого насилия над человеком, от природы обладающего вечными неотчуждаемыми правами.

¹⁵ Между родами, общинами, государствами, идеологиями, цивилизациями.

¹⁶ Незнакомцы, чужаки, иноверцы, еретики, увечные, маргиналы, аутсайдеры, ненормальные, уголовники, идеологические или классовые враги и т. п.

¹⁷ Вообще антропологически самая склонная к насилию группа – это мужчины от 15 до 25 лет; замкнутые мужские же в основном коллективы: армейская среда – последние примеры «дедовщины» у нас или насилия, учиненного американцами в Ираке, в тюрьме Абу-Грейб; криминальная среда. Территории без государственного контроля или же вообще развивающиеся страны в режиме догоняющей модернизации – с разрухой в умах и культуре и мн. др.

¹⁸ Стратегия женского насилия, наиболее символически кодированного и коварного, – создание у мужчины чувства вины и пожизненная его эксплуатация в виде мягкого и настойчивого манипулирования. Самые сильные и умные мужчины, грозные владыки и жестокие деспоты задокументированно испытывали на себе силу женского насилия-власти: Сократ и Аристотель, Марк Антоний и Чингисхан, Сулейман Великолепный и Наполеон. Что же говорить о легионах более простых «подкаблучников»?

кровнородственным социальным группам с помощью систематического повторения («вдалбливания») соответствующих верноподданнических моральных и религиозных императивов.

Назойливый обман формирует внутри сознания мощную структуру «совести», или «супер-эго», как говаривал Фрейд, создавая тем самым репрессивный формат культуры как таковой, которая «передает» свое насилие вовнутрь индивида, переименовывает его, снимая с себя ответственность за него – в итоге мы имеем «культурного человека», который «самонасилияем», вполне по Ильину, ограничивает в себе то, что культура (скорее же – господствующие группы, государство) полагает вредным.

В наши дни индоктринация приняла тотальный характер – в силу вездесущности современных средств масс-медиа и развития социально-психологических технологий (знают уже на «что» и «как» точно воздействовать). Примеры быстрого формирования масс «арийской нации», homo soveticus или же современных отрядов исламских «мучеников» – зловещие подтверждения ахилесовой биосоциальной уязвимости коллективного поведения человека. Насилие потому и сокращается в своих публично-видимых проявлениях, поскольку сейчас его основная часть находима, как у айсберга, в глубинах душевной жизни уже «сверхсоциализированного» индивида. Если ранее социализация заключалась в формировании чувств верности и подчинения небольшой общине, то с Нового времени предпринимаются систематические усилия, достигшие состояния современной сверхинтенсивности, навязывания эмпатии с абстракциями «государства» (отечества), «пролетариями всех стран», «прогрессивным человечеством» или же «единоверцами». Однако, если ранее род, община могли ответить и отвечали той же мерой верности и выручки, то за современными идеологическими и религиозными индоктринациями зияет пустота фальши и обмана, никто реально не ответит верностью – ведь не принимать же всерьез агитки типа «Спаси рядового Райена».

Итог этого: закомплексованный, полный изнутри «несвоим» насилием индивид, а снаружи – негласно-конвенциональная, мотивируемая соображениями взаимной терпимости система фальши и уступок, так называемая «социальная ложь во благо всех». Лучше промолчать, закрыть глаза, похвалить с прицелом на ответное, «понять ближнего», «принять его таковым, каков он есть» – и тебя также примут с твоей ленью, пустыми амбициями, ложью, своеволием и капризами. Чем требовать ответственности, долга, честности, профессионализма и доброжелательности. И эта древняя карикатурная система социальной лжи получила новый интенсивный толчок в своем развитии в век идеологий «потемкинских деревень» (Нашего Совершенного Общества: Демократии, Социализма или же Благочестия) – с помощью масс-медийных технологий. Интериоризация насилия достигает здесь своего апогея в благонамеренно отформатированных гражданах живущих «хорошо, рационально и правильно».

Однако участились сбои в виде немотивированных (внутренними и внешними программами) расстрелов в школах, студенческих кампусах и магазинах, поджогах и погромах, побегов из системы – в секты, леса, иные края. Похоже, интериоризованное насилие начинает выбивать все предохранительные реле: «С меня хватит!»

Что же можно умозаключить из всего сказанного – становимся ли мы добрее и мягче?

С одной стороны, и это следует отчасти из наших рассуждений, уверенно растут, особенно с Нового времени, пространства правовых регламентаций, ценностный статус человека и его эмпатические способности. Тому в подтверждение существуют даже чуть ли не математические расчеты [12].

И часто сказать о том нам мешает застарелая «левая» интеллигентская привычка «критики общества и идеологии», что считается хорошим тоном, нежели «хвалить правительство и существующие порядки» – никто не завоеует популярности «интеллигентских масс», утверждая, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Да и традиционалисты с консерваторами вряд ли будут благосклонны к «прогрессистскому» тезису – нравы не

могут не портиться по сравнению со славным добрым прошлым. Тем не менее, трудно оспаривать, что грубые и жестокие практики систематических публичных актов насилия ушли в прошлое, и гуманистической пропагандой успешно создается вера в то, что люди в целом стали более сострадательны и милосердны. Однако означает ли это, что насилия стало меньше?

С другой стороны, существуют резоны в пользу того, что мы теперь, как и обычно в истории, склонны преувеличивать свою сегодняшнюю развитость и цивилизованность. Подтверждение тому следующие доводы.

Расчеты о количестве смертоубийств в военных конфликтах, где имеют место публичные вооруженные коллективные столкновения, выражают только один, и далеко не единственный, аспект насилия. А урон (и смертей, и страданий от увечий) от криминала (подростковый либо профессиональный бандитизм) или от ДТП, где стабильно гибнет больше людей, чем в войнах. Причины ДТП – следствия не столько «случайности», сколько социальной сублимированной агрессии – будь то «в пьяном виде» или же агрессивная манера вождения.

Далее, с одной стороны, мы видим торжество демократии, правового регулирования и охраны прав – и разных меньшинств, и даже уже животных. С другой же стороны, в одном только Нью-Йорке, форпосте мировой демократии, совершается больше преступлений, чем во всей Японии, т. е. нет желанной корреляции между развитием правового упорядочивания и уровнем насилия.

Человечество существует все же уже около 200 тыс. лет, из них от силы последние 10 тыс. лет – в формате городских цивилизаций и 4 последних века, прошедшие под знаком гуманизма, вовсе не гарантия того, что все дальнейшее развитие пойдет лишь по этому руслу. Существовали и более долговечные, казавшиеся гарантами стабильности и нашего человеческого процветания – тысячелетия Древнего Египта или же тысячелетие Римской империи, а ведь после их краха человечество всякий раз ввергалось в новую пучину насилия после тысячелетия относительных правовых гарантий и человеколюбия. Звоночки о том, меж тем, поступают: мировые войны с их «фабриками смерти», Хиросима, армянские, еврейские, африканские геноциды, новое средневековье талибов (разрушение статуй Будды), «Аль-Каиды». Когда в героях маскультовского пиара ходят Ганнибал Лектор, Чикатилло, бесконечная вереница соплеменников графа Дракулы и те-хасская резня бензопилой, возникает серьезная озабоченность по поводу основ душевного здоровья садомазохистствующих граждан.

Скорее всего, истина находится где-то рядом с подобными безапелляционными противоположными заявлениями относительно нашей добросклонной либо насильственной сущности. Насилие органично для человека – как в силу его биологически-консервативных черт (самцовые иерархии, мужская гормональная агрессивность, склонность к индоктринации), так и взросшей на подобной биологической основе специфической патриархальной социальности. Известно, что весь существовавший до XX века социальный мир был отформатирован как «мужской мир», а «человек» понимался, «по умолчанию», по матрице «мужчины». Соответственно, формирование «самости» («я», воли, рациональности и рефлексии) – главные черты подобным образом понимаемой «человечности» (Франкфуртская школа).

Эта самая «самость» формируется в виде победоносной воли к власти, через систематическое применение насилия – к природе, другим и себе. Нельзя сказать, что лишь мужским насилием исчерпывается мир¹⁹, однако бесспорно, что и предшествующий, и современный социальный миры держатся им и через него в основном развиваются.

¹⁹ Женское насилие не менее, может даже более эффективно, имея «византийский» характер – следствие исторической ситуации позиции слабого, вынужденно-угодливого и оттого двуличного, лицемерного, долготерпеливого, чрезвычайно искусного в плетении кружев замысловатых системных интриг, чрезвычайно мстительного, злопамятного и особого жестокого, прежде всего душевного, насилия. И еще нет таких методик, которые могли бы сравнить последствия мужского и женского насилия для их жертв.

Скорее всего, общий объем насилия, если бы таковой можно было количественно определить, включая сюда не только убийства, грабежи и членовредительства, но и микрокосм душевного, морального насилия, применяемого людьми друг к другу [13] и к самим себе, остается неизменным, как пока неизменны исходные душевная и ментальная экспозиции в человеке. Меняются, скорее всего, внутренние пропорции распределения видов или сфер насилия: публичного и внутреннего, легального и нелегального, физического и символического, садизма и мазохизма – в соответствии с направлениями общей трансформации политэкономической и культурно-ментальной архитектуры социального целого, к которой уже принаравливаются сознание и поведение его единиц.

Литература

1. Алексеев, В. П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 1984.
2. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. – М.: Наука, 1986.
3. Лифшиц, Мих. Мифология древняя и современная. – М.: Искусство, 1979.
4. Палмер, Д. и А. Эволюционная психология. <http://ethology.ru/persons/?id=33>
5. Древние цивилизации. Аверинцев С. С., Алексеев В. П., Ардзинба В. Г. и др. / под общей редакцией Г. М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
6. Даль, Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Рус. яз., 2000. – Т. 2.
7. «Плебейский интеллектуализм», «массовый интеллектуализм позднего иудейства и миссионерских общин апостола Павла» – см. Вебер, М. Социология религии (типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994.
8. «Я не могу представить ни одного преступления, – говорит Б. Рассел, – кроме уничтожения античных рукописей, в которых не были бы часто повинны люди возрождения». – Рассел, Б. История западной философии. – М.: Миф, 1993. – Т. 2.
9. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. – М.: Политиздат, 1991.
10. Криминолог Manuel Eisher взял на себя труд подсчитать по доступным документам уровень преступности в Англии XIV в. и в начале 60-х гг. века XX. В первом случае – 24 убийства на 100 тыс. населения, во втором – 0,6 на 100 тыс., и это учитывая радикально разные размеры популяции. См. A History of Violence by Steven Pinker http://www.edge.org/3rd_culture/pinker07/pinker07_index.html
11. Eible-Eibesfeldt I. (1998), & Salter E K. (Eds.), Indoctrinability, ideology, and warfare: Evolutionary perspectives. New York: Berghahn Books. – p. 51.
12. Уровень насилия снижается, утверждает А. П. Назаретян: во всех международных и гражданских конфликтах XX в. погибло от 100 до 120 млн. – 1 % живших (10,5 млрд. в трех поколениях), такое же соотношение мы находим в XIX в., 35 млн. на 3 млрд. Ранее же эта цифра убиваемых была равна 4 %, у австралийских аборигенов – 2 % – источ. Согласно данным Human Security Brief 2006, число смертей в войнах между государствами сократилось с 65 тыс. в год в 50-х гг. до менее чем 2 тыс. в первом десятилетии XXI в. См. Назаретян, А. «Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории» – http://truemoral.ru/naz_ogl.html
13. Социальные психологи обнаруживают, что как минимум 80 % людей фантазируют об убийстве тех, кто им не нравится. См. См. A History of Violence by Steven Pinker http://www.edge.org/3rd_culture/pinker07/pinker07_index.html